

The Thaw: Soviet Society and Culture in 1950s and 1960s / D. Kozlov, E. Gilburd (eds). Univ. of Toronto Press, 2013. 512 p.

Воистину, бывают странные сближения. Одновременно с тем как в Университете Торонто готовилась к печати коллективная монография «Оттепель: Культура и общество СССР в 1950–1960-е», в Москве и Минске проходили съемки практически одноименного телесериала. Естественно, у картины Валерия Тодоровского нет академического подзаголовка: «Я снимал не документальный фильм, а миф!» — говорит он¹. С любовью и аккуратностью, со вниманием к деталям, достойным документалиста, режиссер реконструировал на экране стилистику, образы и сюжеты мифа, созданного поколением своего отца, Петра Тодоровского. В том же 2013-м в России был переиздан ставший классическим «путеводитель» по мифологии Оттепели — книга Петра Вайля и Александра Гениса «60-е. Мир советского человека»². В процессе подготовки — новый том документального проекта Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра», посвященный 1946–1960 годам³. Повышенное внимание отечественной массовой культуры и медиа к «оттепельным» темам на рубеже 2000–2010 годов (безусловно, связанное с поиском параллелей между реформами Никиты Хрущёва и временем правления Дмитрия Медведева) — тема отдельного исследования. При этом рост популярности 1950–1960-х годов в *public history* не привел к сопоставимому ажиотажу в отечественной академической историографии, в то время как за рубежом история послевоенного советского общества становится в последние десятилетия едва ли не более популярной, чем исследования «классического сталинизма» 1930–1940 годов⁴.

Коллективная монография под редакцией Дениса Козлова и Элеоноры Гилбурд — еще одно тому подтверждение. Смысловым стержнем рецензируемой книги является поиск нового взгляда на Оттепель, позволяющего дистанцироваться от мифологизированных представлений об этом периоде. Методологическую опору своим изысканиям составители обнаружили в дискуссии французских историков 1950–1960-х годов о «длинных» и «коротких» исторических периодах. Вместо более известной отечественному читателю позиции Фернана Броделя, призывавшего изучать социально-экономические структуры и циклы, заметные только в рамках исторического времени большой длительности (*longue durée*), Козлов и Гилбурд обратились к идеям его оппонента, Мишеля Вовеля, реабилитировавшего событийную историю (*l'histoire événementielle*). В центре внимания исследователя в таком случае оказывается «конкретное событие», короткая временная рамка, «разрыв преемственности». Событие — не «пена истории», а самодостаточный феномен. Особое внимание Вовель уделяет «конституирующим событиям» (*constitutive events*), рождающим новые процессы, практики и традиции.

Опираясь на убеждение французского историка в «созидательной способности... внезапных резких изменений, когда прошлое и будущее как бы сливаются, а настоящее бывает исключительно насыщенным», составители монографии предлагают вместо «Периода Оттепели» говорить о «Событии Оттепели» (*the Thaw as an Event*) — последовательности конкретных событий, изменивших культурный и общественный ландшафт Советского Союза⁵. Такой подход позволяет

по-новому взглянуть на дискуссии, ведущиеся в отечественной и западной историографии Оттепели, которые зачастую сводятся к попыткам уточнения и переосмысления хронологических границ исторического периода

Российская традиция во многом исходит из противопоставления 1953–1964 годов предыдущему и последующему историческим периодам. Составители сборника, сосредоточив свое внимание на одном из источников этой традиции — мемуарах советской либеральной интеллигенции (шестидесятников), почему-то упустили из виду другой, не менее, если не более важный — тексты, принадлежавшие перу «архитекторов» Оттепели⁶. Хотя именно эти люди целенаправленно конструировали мифологию новой эпохи, противопоставляя ее «периоду культа личности». Скептическое отношение к Оттепели как к периоду неудавшихся реформ, укрепившееся в отечественной историографии после 1991 года, в свою очередь, наследует идее брежневского поколения номенклатуры, со второй половины 1960-х стремившегося маркировать Оттепель как эпоху волюнтаризма.

Слабые места противопоставления Оттепели сталинизму были отмечены западными советологами еще в годы, когда Оттепель была актуальной политической реальностью. Парадигма «преемственности и изменений» в советской политике отмечала как сохранение при Хрущёве родовых черт сталинистского государства, так и некоторые либеральные сдвиги во внутренней политике и культуре, происходившие на рубеже 1940–1950-х годов, еще до смерти «вождя народов». Однако этот подход не отвечал на вопрос, почему люди, жившие в то время, согласились целый период своей жизни ассоциировать с предложенной Ильей Эренбургом метафорой.

Составители сборника не только предлагают рассматривать событие Оттепели в контексте близлежащих исторических периодов,

но и настаивают на необходимости проанализировать ее взаимосвязь с более отдаленными эпохами (в первую очередь, с дореволюционным прошлым). Второй своей задачей они называют определение места Оттепели в контексте послевоенной мировой истории. Ведь многие проблемы, традиционно понимаемые как нерв эпохи (осмысление недавнего травматического прошлого, формирование общества потребления, новые тенденции в искусстве), были актуальны и для других европейских государств. Для того чтобы решить эти задачи, необходимо серьезно переосмыслить традиционный взгляд на историю 1950–1960-х. Это подразумевает отказ от политической истории государства в пользу социальной и культурной истории; усиление внимания к региональным сюжетам; преодоление представлений об исключительной роли либеральной интеллигенции в изменении общественного климата эпохи.

Сборник разделен на две части: «Оглядываясь назад» и «Глядя вперед» — такое деление едва ли можно назвать оригинальной находкой составителей, но оно дает возможность рассматривать событие Оттепели в тесной связи с предыдущими и последующими историческими периодами⁷. Тем более что риторика эпохи была проникнута, с одной стороны, пафосом приближения коммунистического будущего, а с другой — решимостью преодолеть ошибки периода «культа личности» и восстановить историческую связь с эпохой Октябрьской революции и Гражданской войны.

Уже первая статья сборника — работа Катарини Кларк — предлагает скорректировать генеалогию идей Оттепели. Говоря об основных категориях оттепельной культуры — подлинности, искренности и лирике — она обращает внимание читателя на то, что все эти концепты активно использовались советской литературной критикой и при жизни Сталина. Непосредственными пред-

шественниками борьбы против омертвления соцреализма, развернувшейся в 1953–1956 годах благодаря статьям Фёдора Абрамова, Ольги Берггольц, Владимира Померанцева, по мнению Кларк, были критические статьи, направленные против «теории бесконфликтности» в драматургии, опубликованные еще в 1952-м. Более того, призывы вернуть в советскую литературу лирическое «Я» поэта звучали уже в 1930-х годах не только в стихах поэтов-ифлийцев и статьях Константина Симонова, но и в выступлении Николая Бухарина на I Съезде Союза писателей СССР. Хотя автор и отмечает, что дискуссии 1930-х и 1950-х велись в разных условиях и в годы оттепели литераторы не рисковали быть обвиненными в бухаринском уклоне со всеми вытекающими последствиями, их концептуальное родство имеет первостепенную важность для Кларк. Призывы к искренности и подлинности, по ее мнению, — это категории бинарного словаря чисток, то есть инструменты формирования советской субъективности, использовавшиеся на протяжении всего советского периода.

Не менее сложную диалектику отношения Оттепели со сталинской эпохой демонстрирует в своей статье Марк Эли. Обращаясь к одному из главных событий периода — прекращению массового террора, он наглядно показывает, что на институциональном уровне реформа ГУЛАГа происходила в высшей степени нелинейно, поскольку затрагивала интересы разных ведомств. Демонтаж лагерной империи начался еще в короткий период между смертью Сталина и низложением Берии: ГУЛАГ был переведен в ведение Министерства юстиции; экономические управления МВД были переданы соответствующим министерствам; были прекращены экономически нецелесообразные лагерные «стройки социализма» (Главный Туркменский канал и «Дорога Смерти» Чум — Салехард — Игарка). Хрущёв, стремившийся

покончить с лагерной системой как главным символом сталинского времени, считал основной задачей реформы пенитенциарной системы переход от решения экономических проблем силами заключенных к их перевоспитанию в региональных исправительно-трудовых колониях. Это начинание, главным проводником которого был министр внутренних дел Николай Дудоров, столкнулось с идеологическим сопротивлением со стороны КГБ. На экономическую сложность перевода системы исполнения наказаний с режима самокупаемости на баланс бюджета обращали внимание сотрудники Госплана. Полностью отказаться от использования заключенных в народном хозяйстве не удалось: после ряда разнонаправленных реформ управления лагерями и колониями, которые сказались, в первую очередь, на режиме содержания заключенных, была сформирована гибридная система мест исполнения наказаний, сочетавшая перевоспитание с принудительным трудом. Тем не менее главным результатом этих реформ действительно стал демонтаж системы ГУЛАГа, поглощавшей людей и ресурсы, и освобождение из лагерей миллионов заключенных.

Проблема освобождения из лагерей является центральной для Алана Баренберга. В своей статье он объясняет, почему вышедшие на волю узники лагерей республики Коми предпочитали начинать «новую жизнь» в непосредственной близости от мест своего заключения. На основе анализа документов местных партийных организаций и промышленных предприятий, локальной прессы и серии интервью, записанных с бывшими заключенными, Баренберг реконструирует те проблемы, с которыми сталкивались бывшие жители империи ГУЛАГа. Стигматизация освободившихся из лагерей как «зеков» происходила вне зависимости от того, сидел ли человек по уголовной или политической статье. Вся жизнь бывшего узника происходила

в атмосфере отторжения со стороны «вольных», перепуганных бериевской амнистией уголовных преступников. Местные власти (особенно после закрытого письма ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов»), напротив, опасались, что бывшие «политики» развернут антисоветскую работу. Недоверие к освободившимся из лагерей оборачивалось разными формами дискриминации. Жилплощадь и работу им предоставляли «по остаточному принципу»; устроившись на службу, бывший заключенный рисковал потерять место во время чисток коллектива от подозрительных элементов; его карьерный рост был ограничен «стеклянным потолком» — допустить зека к руководящим должностям могли только в случае абсолютной нехватки квалифицированных кадров. Стигматизации подвергались и члены семей заключенных. Отвергнутые обществом, бывшие узники старались держаться друг друга и, по мере возможности, помогать друг другу в решении насущных проблем. Неформальные социальные сети было проще выстраивать там, где было больше людей, объединенных общей бедой, и там, где был ослаблен контроль со стороны властных органов. Именно поэтому даже те из заключенных, кто пытался вернуться к месту своей прежней жизни, зачастую через некоторое время возвращались обратно к стенам своих лагерей.

Иным образом решалась проблема интеграции в общество бывших политических заключенных в западных регионах СССР (Западные Украина и Белоруссия, Молдавия, Прибалтийские республики). Амир Вайнер задается вопросом: не было ли просчетом со стороны центральных властей разрешение вернуться на родину тем, кто еще недавно с оружием в руках боролся против советской власти? Тем более что в тех областях, через которые дважды прошла война — сначала с

запада на восток, а потом с востока на запад — социально-экономические проблемы стояли как минимум не менее остро, чем в остальных регионах СССР. С одной стороны, мягкое отношение к бывшим «бандитам» и «партизанам» было пропагандистским ходом, демонстрирующим отказ от сталинского стиля решения проблем и переход к новой социалистической законности. С другой стороны, на интеграцию освободившихся из лагерей (в первую очередь на их трудоустройство) были брошены дополнительные средства. Наконец, даже во время протестных выступлений молодежи, спровоцированных польскими и венгерскими событиями 1956 года, власти стремились представить их «хулиганскими выходками» и не делать акцент на их националистическом характере⁸. Бывшие заключенные, как правило, не принимали участие в молодежных акциях — сказались и усталость от войны, и лагерный опыт, и тот факт, что, вернувшись в деревни, еще недавно расколотые партизанской войной, они боялись неосторожными действиями вызвать недовольство односельчан. Показательные суды над бывшими партизанами демонстрировали, что подобные опасения оправданы и народный гнев может быть не менее опасен для них, чем сила советского правосудия. Отказ советской власти от политического террора в пользу перевоспитания преступников не только способствовал стабилизации положения в западных республиках СССР, но и привел к изменению тактики участников национально-освободительного движения. Новое поколение борцов за независимость и некоторые старшие участники сопротивления отказались от вооруженной борьбы и перешли к диссидентскому сопротивлению, основанному на апелляции к советской законности.

На пересечение интересов центральной и региональной власти обратила свое внимание Микаэла Польш (Michaela Pohl), чья статья посвящена судьбе целинной кампании

1953–1965 годов. По мнению автора, традиционная оценка «освоения целинных земель» как неудавшейся инициативы Хрущёва является риторическим ходом брежневского времени, призванным очернить предшественника. Хотя, вопреки обещаниям хрущёвской пропаганды, Казахстан не превратился в цветущий край, тем не менее, чтобы оценить эффективность реформы, необходимо понимать, что представляла собой республика до ее начала. Целинная кампания не ограничивалась только распахкой новых земель — была проведена реформа убыточных колхозов (за несколько лет до начала освоения целины Казахстан страдал от голода).

Стычки между целинниками и местным населением, которые ставят в вину Хрущёву его критики, по утверждению Микаэлы Поль — естественные фронтирные конфликты, возникавшие вследствие интенсивного развития приграничных земель. Гораздо более существенным считает она тот факт, что серьезные этнические беспорядки не возникли в среде депортированных народов (ингуши, чеченцы, немцы) — их возвращение из мест ссылки прошло практически безболезненно. Заглавным же сюжетом статьи является судьба Целинограда (до 1961-го — Акмолинск).

В качестве столицы автономного Целинного края, Целиноград был напрямую подчинен Москве и получал интенсивные финансовые вливания; в результате из областного центра, знаменитого, в первую очередь, окрестными лагерями, он превратился в один из наиболее развитых городов советской Средней Азии.

Не менее острые проблемы поднимают и статьи, посвященные культуре хрущёвского времени. Так, Денис Козлов, анализируя письма, поступившие в редакцию «Нового мира» после публикации мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960–1963; 1965) и повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962), показывает, сколь остро и неоднозначно воспри-

нимали читатели обращение авторов к темам политических репрессий 1930–1950 годов. Уже короткие упоминания Эренбурга об аресте Исаака Бабеля и Всеволода Мейерхольда пробудили к жизни вопрос об ответственности, в том числе и «простых людей», за государственные преступления. Публикация «Ивана Денисовича» резко повысила градус полемики. В архиве «Нового мира» хранятся как письма, приветствующие гражданское мужество писателей, так и отклики читателей, категорически несогласных с позицией авторов. Однако и те и другие, как считает Козлов, демонстрируют ощущение личной связи читателей со сталинским режимом, что затрудняло какие бы то ни было действия по проработке травмы. Уже сам язык участников дискуссии демонстрировал, что возможности осмысления недавнего прошлого серьезно ограничены. Для обозначения эпохи расстрелов, ссылок и лагерей в советском лексиконе не было других слов кроме эвфемизмов вроде «тридцать седьмой (год)» или «период культа личности». То, что с трудом давалось конкретным читателям — дистанцироваться от прошлого и вынести ему оценку, — было категорически невозможно для советской государственной власти. Это неизбежно поставило бы вопрос об отношении к террору государственных лидеров, как досталинской, так и послесталинской эпох⁹.

Полли Джонс анализирует дискуссии о сталинском прошлом в среде советских писателей, также отталкиваясь от полемики вокруг «Одного дня Ивана Денисовича». До сих пор внимание историков литературы привлекали в основном фигуры авторов, приветствовавших десталинизацию. Полли Джонс, напротив, интересуется формированием консервативного направления советской литературы. Несмотря на то что ярлык сталинистов, благодаря мемуарам либеральной интеллигенции, намертво прикреплён к таким фигурам, как Всеволод Кочетов,

Николай Грибачёв или Анатолий Софронов, их консервативное кредо включало в себя помимо личной симпатии к сталинскому прошлому ортодоксальность эстетической позиции, а также стремление к формальной власти и авторитету. Эти черты могли проявляться как вместе, так и по отдельности, тем более что Сталин сам по себе оставался в советском публичном дискурсе отсутствующим персонажем. Поэтому не только авторы, но и положительные герои консервативной литературы не эксплицировали свои политические взгляды (это, в первую очередь, не сталинисты, а противники десталинизации). Размежевание советских писателей по двум лагерям представляло собой скорее реакцию взаимного отторжения от этической и политической позиции «противника», чем формулирование оригинальных программ. Постоянное противоборство «либералов» и «сталинистов», происходившее в институционализированных рамках официальной советской культуры, было на руку партийным властям: поочередно поддерживая то одну, то другую сторону, они добивались сохранения культурного *status quo* в течение всего периода позднего социализма.

Статья Элеоноры Гилбурд, напротив, посвящена интернационалистским тенденциям советского государства 1950-х. Начиная с 1955 года советские лидеры демонстрировали несравнимо большую открытость Западу, обмениваясь визитами с зарубежными коллегами. Официальные дипломатические мероприятия сопровождались укреплением «культурных связей»: проведение выставок и концертов, издание статей и книг о стране-партнере. Культурные десанты Запада вызывали огромный интерес у советских граждан — достаточно вспомнить всесоюзную популярность Ива Монтана или ажиотаж вокруг выставок Пикассо в Москве и Ленинграде. Какое-то время «народная дипломатия» (*public diplomacy*) — установле-

ние личных контактов между советскими и западными гражданами — воспринималась на государственном уровне как важное дополнение к традиционной международной политике. Символом этого поворота, безусловно, стал VI Международный фестиваль молодежи и студентов (1957), когда тысячи молодых людей со всех концов света общались прямо на улицах Москвы. Еще в начале 1950-х во время борьбы с космополитизмом такое было просто немыслимо. Однако уже к 1960 годам от идеи «народной дипломатии» постепенно стали отказываться, поскольку она стала серьезным препятствием для контроля за межличностными контактами. Интернационалистский поворот 1950-х не исчерпывался улучшением имиджа СССР на международной арене и колоссальным интересом к западной культуре внутри страны. Менее заметным, но не менее важным, было формирование новой для советской международной политики идеи «общечеловеческих ценностей», которая стала противовесом алармистской риторике противостояния двух мировых систем.

Конкретным примером мирного сосуществования Советского Союза и «капиталистического окружения» предлагает считать развитие советской модной индустрии (*fashion*) Лариса Захарова. Под *fashion* она понимает «разработку, производство, распространение и потребление модных вещей» (с. 402), поэтому ее статья посвящена не столько восприятию мировых модных тенденций в советском обществе, сколько тому, какие практики использовали жители СССР в своем стремлении красиво и современно одеваться. В условиях плановой экономики и государственного понимания хорошего вкуса как феномена, который можно не просто регулировать, но и воспитывать, отечественная швейная промышленность была неспособна своевременно и в полной мере удовлетворять «растущие потребности советского человека

в товарах народного потребления». Импорт одежды из социалистических и даже капиталистических стран был призван заполнить прорехи в советской системе снабжения. Экономика дефицита приводила к развитию черного и серого рынков (фарцовка, частные портные, система неформального доступа к товарам в сети государственной торговли). Несмотря на то что индивидуальная предпринимательская деятельность (равно, спекуляция и частный пошив) карались советским уголовным законодательством, эта сфера жизни советских граждан регулировалась достаточно слабо. Более того, изготовление одежды для себя поощрялось. Советские журналы мод не только воспитывали хороший вкус, но и предлагали советским женщинам модели, вдохновленные западными образцами. Проникновение в советское общество модных трендов и развитие практик, позволявших удовлетворять спрос на современную одежду, дает основания говорить о возникновении в 1950–1960 годы в Советском Союзе общества потребления, пусть и в весьма специфическом виде.

Интерес к западной культуре в СССР находится в центре внимания Оксаны Булгаковой, посвятившей свою статью новым тенденциям в отечественном кинематографе периода Оттепели. Автор не сводит проблему влияния зарубежного искусства на работу советских режиссеров только к заимствованию художественных приемов западных коллег. Она предлагает рассматривать историю советского кино 1950–1960-х в контексте развития мирового послевоенного кинематографа. Неореалистический поворот, происходивший в 1940–1950 годах в итальянской, французской, польской кинематографических школах, был вызван не только эстетическими предпочтениями режиссеров. Благодаря техническому прогрессу можно было, с одной стороны, быстрее и с меньшими затратами снимать

и монтировать картины, а с другой — работая вне павильона, обеспечивать почти документальную достоверность съемки. Эти тенденции проявились и в советских фильмах, снятых в 1950–1960-х как мэтрами (Михаил Калатозов, Михаил Ромм, Григорий Козинцев), так и новым поколением режиссеров (Андрей Тарковский, Элем Климов, Лариса Шепитько). Стремление к достоверности (внимание к деталям, естественный грим и подлинные костюмы, предпочтение черно-белой пленки) изменило выразительный язык отечественного кино и через него повлияло на стиль жизни целого поколения. При этом нельзя не отметить обращение режиссеров к творческому наследию театрального и киноавангарда 1920 годов, наиболее ярко воплотившееся в «Интервенции» Геннадия Полоки. Возможность снимать разные (как в стилистическом, так и содержательном плане) картины формировала индивидуальный почерк режиссеров, что радикально отличает ситуацию Оттепели от «эпохи малокартинья» 1940-х. Учитывая, что главной проблемой фильмов становится история конкретной личности, можно утверждать, что в советском кинематографе 1950–1960-х произошел поворот к индивидуальности, сопоставимый с открытием человека в искусстве Возрождения.

Послесловие к книге, написанное Шейлой Фитцпатрик, возвращает читателя к проблеме, поднятой в самом начале коллективного труда — соотношению мифа об Оттепели с событием Оттепели. Рассуждая о методологии, избранной составителями, Фитцпатрик отмечает, что понимание события как поворотной точки истории характерно для немецкой традиции трактовки этого понятия (*Ereignis*), предложенной Леопольдом фон Ранке и развитой в работах Карла Маркса, посвященных революции. Использование такого подхода к политическому феномену, чье метафорическое определение связано с цикличностью природ-

ных явлений (оттепель подразумевает не только предшествующие холода, но и грядущие заморозки), может, по ее мнению, показаться несколько странным. Однако, продолжает Фитцпатрик, само определение периода 1950–1960-х через метафору оттепели имплицитно содержит в себе позитивную характеристику этого времени и нейтрализует ее негативные «метеорологические» коннотации. Те же, кто подвергает ревизии историю Оттепели, как правило, не называют ее так, или, по крайней мере, закавычивают определение. Иными словами, в основе шестидесятилетнего мифа об Оттепели и лежит ее понимание в качестве события (*Ereignis*) – радикального поворота истории.

Авторам сборника под редакцией Козлова и Гилбурд действительно удалось представить Оттепель в качестве события, радикально изменившего многие стороны советской культуры и общественной жизни. Тем не менее приходится признать, что практически все статьи (за исключением работы Микаэлы Поль и, отчасти, Амира Вайнера)

посвящены культуре и общественным проблемам, характерным, в первую очередь, для крупных городов. Свидетельства о жизни малых городов и деревень позволили бы проверить, насколько проанализированные в книге события были универсальны в своем влиянии на население Советского Союза в целом. В фокус исследователя попали бы иные феномены, не менее жестко и необратимо менявшие жизнь в регионах СССР. Однако период 1950–1960 годов настолько насыщен событиями, что, хотя и с сожалением, приходится смириться с невозможностью в рамках одной книги «объять необъятное». Разнообразие проблем, привлечение уникальных источников (в первую очередь, необходимо приветствовать использование регионального архивного материала), глубокий анализ выбранных для исследования сюжетов уже делают данный труд не только важным событием в современной историографии Оттепели, но и в высшей мере увлекательным чтением. ■

ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ *Ефимов С.* Сегодня «Оттепель», а завтра – холода... // Комсомольская правда. 2013. 3 дек. (<http://www.kp.ru/daily/26167.2/3054154/>).

² *Вайль П.Л., Генис А.А.* 60-е: Мир советского человека. М.: Corpus, 2013.

³ *Голубева А.* Персона COLTA. Леонид Парфенов: «Эфирной ностальгией не страдаю»: Телемаэстро о своей новой работе и новых настроениях // <http://www.colta.ru/articles/media/439?page=3>

⁴ *Bittner S.* The Many Lives of Khrushchev's Thaw: Experience and Memory in Moscow's Arbat. Ithaca, 2008; *Dobson M.* Khrushchev's Cold Summer: Gulag Returnees, Crime, and the Fate of Reform After Stalin. Ithaca, 2009; *Hornsby R.* Protest, Reform and Repression in Khrushchev's Soviet Union. Cambridge, 2013; *Kozlov D.* The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past. Harvard, 2013; *LaPierre B.* Hooligans

in Khrushchev's Russia: Defining, Policing, and Producing Deviance During the Thaw. Wisconsin, 2012; *The Dilemmas of De-stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev's Era* / P. Jones (ed.). L., 2006; *Tromley B.* Making the Soviet Intelligentsia: Universities and Intellectual Life Under Stalin and Khrushchev. Cambridge, 2014; *Zubok V.* Zhivago's Children: The Last Russian Intelligentsia. Harvard, 2009.

⁵ *Вовель М.* К истории общественного сознания эпохи Великой французской революции // Французский ежегодник. 1983. М.: Наука, 1985.

⁶ *Аджубей А.И.* Те десять лет. М.: Советская Россия, 1989; *Бурлацкий Ф.М.* Вожди и советники: О Хрущёве, Андропове и не только о них. М.: Политиздат, 1990; *Хрущёв Н.С.* Воспоминания: Избранные фрагменты. М.: Вагриус, 1997.

⁷ См. например: *Уль К.* Поколение между «героическим прошлым» и «светлым буду-

шим»: Роль молодежи во время «оттепели» // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 270–326.

⁸ Тем не менее документы Особого архива Литвы свидетельствуют о том, что органы госбезопасности со всей серьезностью относились к националистическим выступлениям молодежи. Более того, в каждом случае молодежных выступлений участие родственников в вооруженной борьбе против советской власти в 1940–1950-х или иная связь с деятельностью подполь-

ных националистических организаций тщательным образом проверялась как возможный источник анти-советских идей. См. напр.: <http://www.kgbveikla.lt>

⁹ Отсутствие однозначной оценки сталинского прошлого продолжает влиять и на современную культуру памяти в России. См. об этом: *Плат К.М.Ф.* Идти в науку – терпеть муку: травма и дисциплина в российской школе // Новое литературное обозрение. 2013. № 6 (124).